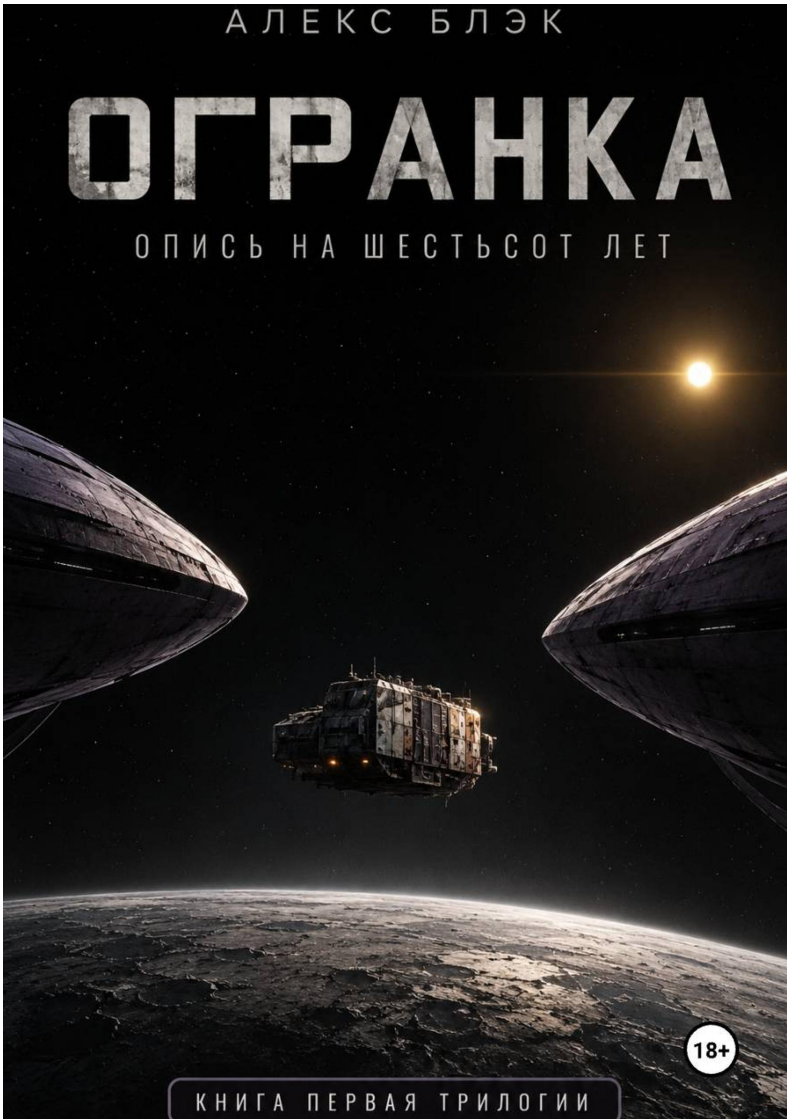
АЛЕКС БЛЭК

ОГРАНКА

ОПИСЬ НА ШЕСТЬСОТ ЛЕТ



18+

КНИГА ПЕРВАЯ ТРИЛОГИИ

Алекс Блэк

Огранка. Опись на шестьсот лет

https://litres.ru/74796013
SelfPub; 2026

Аннотация

Ионе Керну в четырнадцать лет сделали профессию. Не выучили — сделали: дали чужие языки и умение читать любое лицо, а взамен вырезали стыд и вкус к обществу людей. Так здесь поступают со всеми. Кем станет ребёнок, решают до его рождения, а лишнее убирают, когда подрастёт.

Вырезанное не выбрасывают. Его складывают в кассеты и увозят на списание.

Керн летит сопровождающим на старом грузовике. В трюме двадцать восемь тысяч кассет: чужой страх, чужая нежность, чужая память. На каждой стоит отметка «состояние: активно».

Потом на борт поднимается инспектор — существо, для которого забыть страшнее, чем умереть. Через четыре дня её находят мёртвой. Тело при этом продолжает дышать.

Семеро на корабле, и у каждого вырезано своё. Двое суток, чтобы найти виновного. И цена ошибки, о которой Керн предпочёл бы не знать: платить будет не экипаж.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ГРУЗ 4
Глава 1 4
Глава 2 13
Глава 3 21
Глава 4 28
Глава 5 35
Глава 6 42
Глава 7 49
Глава 8 55
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВОЕ СУТОК 64
Глава 9 64
Глава 10 71
Конец ознакомительного фрагмента. 74

Алекс Блэк
Огранка. Опись на шестьсот лет

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ГРУЗ

Глава 1

Из памятки таможенника станции Гретта-Три, раздел «Расы, с которыми следует быть осторожным»:

Краумы. Молчаливы. Не повышают голоса. Не угрожают.

Если краум молчит дольше получаса — вызовите толмача. Не ждите, пока он заговорит: когда он заговорит, будет поздно.

Краум хотел убить таможенника и по своему праву был совершенно прав.

Таможенник этого не знал. Он стоял за стойкой досмотра, держал в руках отобранный свёрток и говорил громко, как говорят с теми, кого считают глухими или глупыми. На бирке у него было написано «Прохоров, старший смены». Ему

оставалось минут восемь жизни, и он тратил их на объяснение правил ввоза.

Краум слушал молча. Краумы вообще молчат долго, а потом предъявляют счёт.

Моё дежурство на станции Гретта-Три кончалось в половине восьмого, и через досмотровый зал я шёл не к ним, а мимо — сдавать смену. Но основание шеи у краума уже потемнело, а у краумов это значит одно: обиду занесли в счёт и пора взыскивать. Пришлось подойти.

Я толмач. Это такая специальность: меня заказали под неё ещё до рождения, на одиннадцатые сутки, а огранили в четырнадцать лет, как всех. Мне дали язык и умение читать телесную мимику любой разумной расы, а взамен сняли вкус к человеческому обществу и стыд. Второе, говорят, толмачу мешает: стыдливый переводчик смягчает, а смягчённый перевод в Паритете стоит дороже войны. Паритет — это договор, которым девять тысяч лет держат мир между расами, и люди в нём младшие: мы вступили сто девяносто лет назад и до сих пор читаем его в том объёме, в каком нам выдали.

За это я получаю втрое больше Прохорова и не могу просидеть с ним в одном буфете дольше четверти часа.

— Господин старший смены, — сказал я. — Положите свёрток на стойку и отойдите на два шага.

Прохоров обернулся. Он увидел человека в сером, без оружия, без охраны, лет тридцати с чем-то, и решил, что может не торопиться.

— А вы, собственно, кто?

— Я собственно толмач Паритетной службы, и у вас осталось минут семь. Свёрток. На стойку. Два шага назад.

Он посмотрел на краума. Краум стоял неподвижно, и в этой неподвижности не было ничего угрожающего — именно поэтому люди её и не читают. Краум ростом с человека, только вдвое шире, и покрыт не кожей, а чем-то вроде сухой коры. Когда он решает, что обида состоялась, основание шеи у него темнеет от светло-серого до почти чёрного. У этого оно было уже как остывший уголь.

— Да он три часа тут стоит и молчит. — Прохоров качнул свёртком. — Я ему по форме объясняю: органика к ввозу без справки запрещена.

— Что в свёртке?

— Да труха какая-то. Кора, щепа, не пойму.

— Это его отец, — сказал я.

Прохоров замолчал. Это была его первая разумная реакция за три часа.

Краумы не хоронят. Умершего высушивают, перетирают и носят с собой в холсте, и это не урна с прахом, не реликвия и не сувенир: по их праву перетёртый краум остаётся участником событий, за ним сохраняется его место в счёте, и за обиду, нанесённую ему, отвечают так же, как за обиду живому. Три часа назад Прохоров вынул отца этого краума из его багажа и положил на стойку рядом с конфискованными сигаретами.

— Я не знал.

— Знаю, что не знали. Ему это безразлично. У краумов нет понятия «не знал», у них есть понятие «сделал». Теперь слушайте меня очень внимательно и не перебивайте, потому что объяснять второй раз некогда.

Он кивнул. У неогранённых страх наступает поздно, зато сразу весь.

— Он занёс обиду в счёт. У краумов любая обида имеет цену, цену записывают, а долг потом наследуют дети краума и ваши. Если обиду не оценят за сутки, краум оценивает её сам, по высшей мере. А высшая мера — это ваша жизнь.

— Так у меня сутки?

— У вас семь минут. Сутки — это срок, после которого он обязан взыскать. А он уже решил, и ждать не будет.

— Так пусть оценит! Я заплачу!

— Вы не поняли. Он не хочет денег. Деньгами закрывают порчу имущества. А здесь вы положили его отца рядом с мусором, и это другая статья.

— И что он хочет?

— Он хочет взыскать сам. Своими руками.

Прохоров очень осторожно положил свёрток на стойку и отошёл на два шага.

Я повернулся к крауму и перешёл на его язык.

Переводить краума легко и неприятно. У них нет вежливых форм, нет условного наклонения и почти нет будущего времени: краум говорит о том, что есть, и о том, что он сде-

лает. Зато есть семнадцать слов для разных видов долга, и выбор между ними — это и есть весь разговор.

— Я толмач Паритета, — сказал я. — Счёт открыт. Назовите себя и своё место.

— Таккун, девятый счёт, — ответил краум. — Открыт в четыре часа двадцать минут. Предъявлено: извлечение из багажа и оставление рядом с отходами. Взыскание по высшей мере.

— Понятно. Прошу разрешения внести уточнение.

— Вносите.

Вот ради этого меня и держат. Запись нельзя отменить, оспорить или выкупить. Её можно только уточнить — и если уточнение меняет статью, то меняется и цена.

— Уточнение. Старший смены вынул вашего отца из багажа и положил на стойку. Он не опознал в нём краума. Он опознал в нём органический образец без справки о ввозе.

— Это не меняет сделанного.

— Это меняет статью. По вашему праву оставление рядом с отходами — обида, потому что в ней есть отрицание места в счёте. Но здесь место вашего отца не отрицали. Его не прочли. Ваш отец своё место сохранил, а человек не умеет его читать, потому что у человека нет для этого органа.

Таккун молчал секунд двадцать. Я следил за основанием шеи: оно не светлело, но и не темнело дальше.

— Назовите статью, — сказал он наконец.

— Небрежность в отношении места в счёте, без отрица-

ния. У вас она стоит сорок две единицы.

— Сорок две единицы — это ничто.

— Это ничто, — согласился я. — Но внесённое ничто — это закрытая запись. А верхняя планка — это открытая запись, которую унаследуют ваши дети и дети старшего смены. Вы сейчас выбираете не между сорока двумя единицами и его жизнью. Вы выбираете между закрытой записью и долгом, который переживёт и вас, и его.

Краумы не торгуются. Я всегда забываю, насколько это облегчает работу.

— Вношу сорок две единицы. Запись закрыта.

Основание шеи у него начало светлеть сверху вниз, медленно, как светлеет окно перед рассветом.

Он взял свёрток со стойки — обеими руками, снизу, как носят краумы, — и убрал в сумку. Потом посмотрел на Прохорова, который стоял в двух шагах и не понимал ни слова.

— Переведите ему, — сказал Таккун. — Счёт закрыт. Обида перестала существовать. Я её больше не помню. Кто помнит закрытый счёт, тот отвечает за это сам.

Я перевёл. Прохоров закивал быстро и мелко.

— И скажите ему, — добавил краум, — что у него плохая работа. Он три часа объяснял мне правила и ни разу не спросил, что он держит в руках.

Это я тоже перевёл, слово в слово. Смягчать не моя специальность.

Таккун ушёл в сторону пятого терминала, и я проводил

его взглядом: сорок две единицы, один закрытый счёт и один живой таможенник.

Прохоров сел на табурет за стойкой. Руки у него начали дрожать только сейчас, минут через пять после того, как всё кончилось.

— Спасибо. Вы мне… я даже не знаю. Давайте я вас хоть кофе угощу.

Вот этого я и не люблю.

Человеческая благодарность всегда идёт одним и тем же порядком: сначала пауза, потом слова, потом приглашение куда-нибудь сесть вдвоём. А мне с ним сидеть нельзя. Не потому, что я считаю Прохорова плохим человеком, — он ровно такой, как все, не лучше и не хуже. Просто вкус к человеческому обществу мне сняли вместе со стыдом, и через четверть часа за одним столом с любым из них у меня начинает ломить в затылке, как от чужого запаха в тесной каюте.

— Не надо. Вы живы, я на смене, и мы оба в выигрыше. Справку о ввозе органики на краумов не распространяйте, их отцы справок не получают.

Он смотрел мне в спину, пока я шёл к выходу. Я чувствовал этот взгляд затылком и ровно ничего по этому поводу не испытывал.

Предписание догнало меня в коридоре — пришло на браслет, пока я шёл к лифту.

ТОЛМАЧУ ПАРИТЕТНОЙ СЛУЖБЫ И. КЕРНУ. Откомандировать на борт судна «Вторник», порт Гретта-Три,

причал двадцать два. Срок девятнадцать суток. Основание: инспекция, один инспектор, раса эссуан. Явка завтра в восемнадцать ноль-ноль. Отказ — с объяснением причин в трёх экземплярах.

Инспектор-эссуан — это хорошо. Эссуан я люблю; с ними можно разговаривать неделями, и они не предлагают кофе.

А вот «Вторник» мне ничего не говорил. Я запросил на браслете, что это за судно и чем оно занято, и прочитал ответ дважды, потому что с первого раза решил, что открыл не ту строку.

Кольцевой маршрут по Палатам Огранки — лечебницам, где огранивают детей. Забирает то, что при огранке с детей снимают, и доставляет на станцию утилизации у звезды Гретта.

То есть мусоровоз. Девятнадцать суток на корабле, трюм которого набит тем, от чего отказались тысячи детей.

Я стоял в коридоре и думал, что предписание не зря допускает отказ. На хорошую работу отказываться не позволяют, а здесь позволяют. Это не милость, это предупреждение.

Отказываться я не стал.

Во-первых, девятнадцать суток среди шести человек я выдержу, если буду спать в отдельной каюте и не садиться с ними за один стол.

А во-вторых, мне было интересно, кто согласился там ра-

ботать.

Глава 2

Из «Инструкции по обращению с кассетами отвода», пункт первый:

Содержимое кассеты является живым работающим образцом и сохраняет активность в течение всего срока хранения.

Запрещается: вскрывать кассету; подключать кассету к себе или другому лицу; оставлять кассету вне стеллажа; обращаться к содержимому кассеты вслух.

Последнее требование не имеет медицинского обоснования и введено по настоянию персонала.

«Вторник» стоял у двадцать второго причала и выглядел на свои сорок один год — но ухоженным.

Я ожидал ржавчины. Ржавчины не было. Корпус был старый, с заплатами двух разных оттенков, но заплаты лежали ровно, швы были зачищены, а на стыках не нашлось ни одного потёка. Кто-то на этом корабле работал руками, и работал хорошо.

У сходни меня ждала женщина лет сорока с небольшим, в рабочей куртке на голое тело, с кружкой в руке. Пахло от кружки не чаем.

— Керн? — спросила она. — Толмач?

— Я.

— Нев Асколи, капитан. — Она переложила кружку в левую руку и протянула правую. — Поздравляю, вы тут самый дорогой предмет на борту. Дороже реактора.

Рукопожатие у неё было короткое и сухое. Я посмотрел на её нашивку: три полосы, патент капитана дальнего хода, выдан четырнадцать лет назад.

— Вы неогранённая, — сказал я.

Она не обиделась. Неогранённых это обычно не задевает: их задевает, когда делают вид, что не заметили.

— Неогранённая, — согласилась Нев. — Это вам ваша грань подсказала, а не я себя выдала. — Она отпила из кружки. — Да, я капитан. Да, у меня в экипаже пятеро огранённых, и каждый в своём деле лучше меня. И да, по закону командовать могу только я, потому что командир выбирает цель, а огранке цель не поддаётся.

— Я не спрашивал.

— Вы-то не спрашивали. Все думают. — Она мотнула головой в сторону люка. — У меня пять совершенств и один я. Угадайте, кто отвечает, если что.

Вот это мне понравилось. Не формулировка, а то, что она произнесла её без жалости к себе.

Внутри «Вторник» оказался теснее, чем казался снаружи. Коридоры в один человек шириной, скобы под потолком, запах машинного масла и подгоревшей крупы. Нев шла впереди и говорила на ходу, не оборачиваясь.

— Девятнадцать суток. Семь остановок, все по Палатам

Огранки, потом сдаём всё на станцию утилизации и идём домой. Работа простая: мы приезжаем, нам выкатывают контейнеры, мы расписываемся, грузим, уходим. Никто ни с кем не разговаривает дольше необходимого.

— А инспекция?

— А инспекция — это ваше. — Она остановилась у трапа и обернулась. — С этого места слушайте внимательно, потому что дальше я повторять не буду, а повторять придётся вам — им.

— Кому им?

— Экипажу. — Нев допила кружку и поставила её на выступ. — Завтра к вечеру к нам поднимется эссуанка. Инспектор. Женщина, если это слово тут годится, не знаю. Шестьсот с чем-то лет. По договору она имеет право ходить по судну где захочет, смотреть что захочет и задавать вопросы кому захочет. Отказать нельзя. Соврать — тоже, потому что они помнят всё, сверяют с тем, что помнили шестьсот лет, и ловят на мелочах.

— Это стандартная инспекция.

— Стандартная-то стандартная, а у меня из-за неё экипаж третьи сутки не спит. — Она посмотрела мне в лицо. — Знаете почему?

— Пока нет.

— Тогда пойдёмте в трюм. Там станет понятнее.

Трюм «Вторника» занимал две трети корпуса и был разделён на стеллажные палубы — четыре палубы по шестна-

дцать рядов, проходы в полметра.

Стеллажи были заполнены почти доверху.

Кассета — это цилиндр длиной в предплечье, матовый, тёплый на ощупь, с окошком индикатора на торце. Внутри белково-гелевый носитель, а в носителе осыпь: то, что снимают с ребёнка при огранке. Снаружи бумажная бирка под пластиком, и на бирке всё написано.

Я взял первую попавшуюся кассету с нижней полки. Неловкость, которая остановила бы другого, мне не положена.

ПАРТИЯ 11-204. ПАЛАТА ОГРАНКИ, СУТЫРЬ.

ОТВОД ОТ 14.03. ВОЗРАСТ НОСИТЕЛЯ: 13 ЛЕТ 4 МЕС.

НАЗНАЧЕНИЕ: реакторный.

СНЯТО: страх высоты; страх замкнутого пространства; инстинкт самосохранения — частично; обоняние.

СОСТОЯНИЕ: активно.

СРОК УТИЛИЗАЦИИ: 30 суток.

Я прочитал бирку и поставил кассету назад.

Про осыпь я, разумеется, знал. Это знает каждый. Когда подросток в тринадцать-шестнадцать лет проходит последнюю стадию огранки, это занимает от двадцати до сорока часов: входит ребёнком, выходит мастером. Снятое при этом не уничтожается. Его выводят в кассету машиной, которая называется отводом. Так положено. Потом кассету утилизируют в тридцать суток, и это тоже положено.

Знать — одно, а увидеть четыре палубы по шестнадцать рядов — совсем другое.

— Сколько здесь? — спросил я.

— Тридцать с лишним тысяч номеров в описи к концу рейса. — Нев стояла в проходе, прислонившись к стеллажу спиной, и смотрела не на стеллаж, а в пол. — Но мы в середине маршрута, так что сейчас на борту двадцать пять тысяч девятьсот сорок, остальное догрузим на следующих остановках.

— И каждая — это один ребёнок.

— Каждая — это то, что с одного ребёнка сняли. Один ребёнок может дать две кассеты, если граней две. — Она наконец подняла голову. — Вы в порядке?

— В полном порядке. У меня снят стыд, а не зрение: я всё вижу.

— Я не про стыд. Я про то, что вы бирку прочитали целиком. Обычно новые дочитывают до «возраста носителя» и ставят на место.

Я посмотрел на стеллаж ещё раз.

«СОСТОЯНИЕ: активно». Вот что в этой бирке было самое неудобное, и до меня дошло только со второго раза. Страх высоты, снятый у тринадцатилетнего подростка четырнадцатого марта, не умер. Он лежал в полуметре от моего лица, в тёплом цилиндре, и работал. Он всё ещё был страхом. Просто больше ничьим.

— Теперь понимаете, почему экипаж не спит? — спроси-

ла Нев.

— Не вполне.

— Потому что эссуан придёт смотреть не на это. — Она постучала костяшкой по кассете. — Это ей безразлично, это наше внутреннее дело. Она придёт смотреть на отвод.

— На машину?

— На машину. У нас в лазарете стоит судовой отвод — та же железка, что в Палатах, только одна и маленькая. Он у нас в резерве, он не работает, он по бумагам одиннадцать месяцев не обслуживался.

Что-то в том, как она это произнесла, мне не понравилось, но я ещё не знал, что именно.

— И?

— И по эссуанскому праву отвод — не медицинское оборудование, а оружие. — Нев оторвалась от стеллажа. — Единственная машина в галактике, которая умеет разрывать непрерывность сознания. У них вся религия, вся родня и весь закон — это непрерывность памяти. Представьте, что вам в каюту поставили на хранение гильотину и попросили расписаться, что она в исправном состоянии.

— Я представил.

— А теперь представьте, что вы ею пользуетесь по восемь раз в сутки и считаете это санитарной обработкой.

Мы постояли молча. Где-то за переборкой работал насос, с перебоем через каждые четыре такта.

— Экипаж боится не инспектора, — сказал я. — Экипаж

боится, что инспектор спросит, как они тут спят.

— Экипаж боится, что она спросит это при мне, — поправила Нев. — А я отвечу.

Тогда я первый раз подумал, что она, пожалуй, неплохой капитан. А второй раз — что она чего-то недоговаривает.

Мы пошли обратно к трапу. На третьей палубе, в дальнем конце, горел рабочий свет и кто-то негромко разговаривал — одна фраза, пауза, снова одна фраза. Я остановился.

— Там кто-то есть.

— Там Хадиджа, лоцман. — Нев не остановилась. — Она в трюме половину вахты проводит.

— Зачем?

— Пломбы проверяет.

Пломбы на стеллажах проверяет Варга, и проверяет раз в сутки по журналу. Лоцману в трюме делать нечего вообще: лоцман сидит в рубке и считает трассы.

Я мог сказать это вслух. Стыда мне не положили, так что мне ничто не мешало.

Но мне было неинтересно. Человеческие дела меня занимают ровно настолько, насколько за них платят, а за пломбы на «Вторнике» мне не платили.

Так что я ничего не сказал, и это была первая моя ошибка в том рейсе. Не последняя, но первая.

У трапа Нев остановилась и повернулась ко мне.

— Последнее. Фесс, наш врач, будет гонять всех через медосмотр перед инспекцией. Положено. Вас тоже.

— Хорошо.

— Меня — нет.

— Почему?

— Потому что я капитан, — сказала Нев Асколи, — и потому что я так решила.

Она соврала, и соврала плохо — не в словах, а в том, как у неё при этом дёрнулась левая рука к кружке, которой в руке уже не было.

Я заметил и промолчал. Второй раз за десять минут.

Глава 3

Из судовой роли «Вторника», графа «особые отметки»:

Асколи Н., капитан — не огранена.

Рэм Х., лоцман.

Бор С., реакторный. Допуск по дозе продлён в порядке исключения.

Сабаль Ю., учётчик. Возраст 19.

Варга, охрана груза.

Фесс И., врач и инспектор Палаты — не огранён.

Вакансий нет. Текучесть за год: ноль.

Ужин на «Вторнике» подавали в одну смену, и это оказалось единственное время, когда весь экипаж собирался в одном помещении.

Я сел последним, у самого выхода, и просидел там весь ужин. Четверть часа — моя норма, я её знаю с четырнадцати лет, и она не растягивается от хорошего отношения.

Нев представила меня одной фразой:

— Это Керн, толмач. Завтра к вечеру у нас будет эссуанка, и разговаривать с ней будет он, а не вы. Это не рекомендация.

— А если она сама спросит? — сказал мужчина лет пятидесяти, сидевший напротив.

— Тогда отвечайте, Стефан, и молитесь, чтобы он успел перевести раньше.

Стефан Бор был худой, с жёлтым лицом и очень спокойными руками. Реакторный. Костёр.

У костра снимают обоняние — иначе в реакторном отсеке не выжить — и снимают инстинкт самосохранения, иначе он туда просто не пойдёт. Бор ел кашу, не глядя в тарелку, и пил компот, вкуса которого, судя по лицу, не различал.

— Доза? — спросил я.

Нев положила ложку. За столом стало тише.

— Четыреста десять бэр, — ответил Бор, не меняя выражения. — Предел четыреста пятьдесят. Год, может, полтора.

— А копия личности у вас есть? Если умрёте, вас восстановят?

— Копия с огранённого стоит вчетверо дороже, чем с обычного человека. Огранка оставляет в голове шов, и копия шва не держит. У меня нет и четверти этих денег. — Он наконец посмотрел на меня, и взгляд был совершенно ясный. — Вы первый за три года, кто спросил прямо. Остальные справляются в журнале и потом со мной не разговаривают.

— Мне сняли стыд.

— Я догадался, — сказал Бор. — Повезло вам.

Это была шутка, и за столом её не поддержали.

Рядом с ним сидела девушка лет двадцати пяти, коротко стриженая, с руками в мелких ссадинах. Она не поздоровалась, когда я вошёл, и за всё время подняла глаза один раз.

— Хадиджа Рэм, лоцман, — сказала Нев. — Лучший лоцман, которого этот корабль не заслужил.

— Это неправда, — ответила Хадиджа.

— Что именно?

— Корабль заслужил.

Лоцману снимают скуку, чтобы он выдерживал двадцатичасовую вахту на счёте трасс, и снимают привязанность к людям, потому что привязанность мешает решению бросить груз. У Хадиджи это читалось без всякой грани: она разговаривала с Нев вежливо и ровно, как разговаривают с мебелью, которую уважают.

А про «Вторник» она сказала «он заслужил» — и голос у неё при этом дрогнул.

Я отметил это и ничего не сказал. Третий раз за день.

Напротив, у стены, ел мальчик. Девятнадцати ему я бы не дал — лет шестнадцать на вид, тонкая шея, слишком большие для лица глаза.

— Юн Сабаль, учётчик, — представила Нев. — Девятнадцать лет, и не спрашивайте.

— Покажите, — сказал Юн.

— Что показать?

— Руку. Левую. — Он отложил ложку и сел прямее. — Вы её уже три раза убирали под стол, когда на вас смотрели. Я хочу знать, чего вы не хотите, чтобы видели.

Я вытащил левую руку и положил на стол. На тыльной стороне у меня четыре точки по кругу — старый след от разъёма, заживший плохо.

За столом никто не отреагировал, кроме Юна. Юн по-

смотрел и кивнул, как будто получил расписку.

— Благодарю, — сказал он.

Учётчикам дают дословную память и снимают способность забывать. Это звучит как выгодная сделка, пока не сообразишь, что человек, который не умеет забывать, помнит всё — включая то, на что смотрел четыре секунды и смотреть не хотел. Такие сходят с ума годам к пятидесяти. Юн, похоже, шёл быстрее расписания.

— Я вас не обижу, — сказал он мне. — Просто я уже помню вашу руку и буду помнить её всегда, поэтому лучше было посмотреть сразу и правильно, чем потом вспоминать неправильно.

— Разумно, — сказал я.

— Остальные считают, что это грубо.

— Остальным не сняли стыд.

Юн улыбнулся — первый человек за столом, который улыбнулся по-настоящему.

Четвёртым был Варга. Я знал, что он охрана груза, ещё по судовой роли, но догадался бы и без неё: он сидел ровно, не опираясь на спинку, с ногами под собой. Так сидят те, кого огранили под бой.

— Варга, — сказал он и протянул руку. — Охрана. Извините, мы ведь, кажется, уже знакомились?

— Часа два назад. У сходни.

— Да, точно. — Он не смутился ни на секунду, и извинение у него прозвучало отработанно, как у человека, который

произносит его по десять раз в день. — Прошу прощения. У меня снята память на лица.

— Зачем?

— Чтобы я не колебался.

Бойцу дают скорость и силу. Снимают гнев, потому что в гневе боец хуже, и снимают жалость к противнику. А вот про память на лица я узнал только сейчас, за столом на мусоровозе: боец не должен узнавать того, против кого его поставили.

— Голоса я помню хорошо, — добавил Варга. — Ваш уже запомнил. Больше спрашивать не буду.

И последним — врач.

Иллари Фесс был из тех людей, к которым обычно садятся поближе. Лет сорока пяти, с усталым приветливым лицом, он сам передал мне хлеб, сам подвинул компот и сам спросил, как я переношу тесные помещения.

— Плохо, — сказал я. — Но дело не в помещениях.

— В людях. — Он кивнул. — Понимаю. У меня половина экипажа так или иначе чего-то не переносит. Это нормально, это даже честно.

— Вы инспектор Палаты Огранки.

— И судовой врач. — Фесс улыбнулся. — Да, совмещаю. Палата платит мне за подписи под актами утилизации, корабль — за уколы. Платят, правда, в основном подписи, а работаю я здесь.

— Сколько актов вы подписали?

— За четырнадцать лет — около полутора тысяч. — Он сказал это без запинки и без вызова. — Если бы не я, подписывал бы кто-то другой. Я, по крайней мере, читаю бирки.

Вот тут я впервые за ужин подумал, что приветливость — это не свойство характера, а способ не возвращаться к вопросу.

Нев Асколи постучала ложкой по кружке.

— Так. Про инспекцию. Керн, скажите им то, что я вам говорила в трюме, только своими словами. Вас они послушают.

Я встал, потому что сидя было неудобно всех видеть.

— Завтра к вечеру к нам поднимется эссуанка, инспектор от Паритета. Придёт она не за кассетами: что мы снимаем со своих детей, её не касается, это наше внутреннее дело. Придёт она за отводом.

— Он в резерве, — сказал Фесс.

— По бумагам в резерве. Её это не интересует. Её интересует состояние. — Я посмотрел на Фесса, потом на Нев. — И она не будет спрашивать, зачем нам отвод. Она будет спрашивать, в каком он виде. Это тот же вопрос, но на второй бумагой не отделаешься.

— Почему нельзя? — спросила Хадиджа.

Она подняла глаза второй раз за ужин, и впервые — на меня.

— Потому что для эссуан отвод не прибор, а машина, которая рвёт цепь памяти. Рвать цепь хуже, чем убивать: когда

умирает тело, цепь продолжается, а когда рвётся цепь, от человека остаётся один список прожитого.

— И что, нам теперь врать? — сказал Бор.

— Нет. Врать им нельзя, они помнят всё и сверяют. Нам надо говорить правду и не говорить лишнего, а где граница — буду решать я, потому что мне за это платят.

Юн Сабаль поднял палец.

— Вопрос. Если инспектор спросит меня, сколько раз за рейс включался судовой отвод, — что мне отвечать?

За столом стало совсем тихо. Насос за переборкой сбился с такта и пошёл ровно.

— Правду, — сказал я. — А сколько раз он включался?

Юн открыл рот. Потом посмотрел на Фесса, потом на Нев, потом на свою тарелку.

— Я помню всё, — сказал он тихо. — Это моя грань. Я помню каждую вахту за два года.

— И?

— И я не помню одиннадцати минут в ночь на седьмое.

Нев Асколи очень аккуратно поставила кружку на стол.

Четверть часа моей нормы истекла минуты три назад. В затылке у меня уже ломило, как от чужого запаха в тесной каюте, — и я остался сидеть.

Глава 4

Из «Порядка приёма инспекции на борт судна под флагом Протектората», раздел второй:

Встречающий обязан стоять на расстоянии не менее двух шагов и не протягивать руку.

Приветствие произносит толмач. Остальным членам экипажа говорить не следует.

Если инспектор заговорит с членом экипажа напрямую, члену экипажа следует ответить. Молчание считается оскорблением и оценивается.

Эссуанский катер пристыковался в шесть сорок, с опозданием на сорок минут, и опоздание было не их виной: Нев трижды переносила приём, пока Фесс не закончил медосмотр.

Всех, кроме капитана.

Я стоял у переходного люка один. Экипаж Нев выстроила за моей спиной в коридоре — шесть человек в ряд, в чистых куртках, с таким выражением, с каким стоят на похоронах дальнего родственника.

— Повторяю последний раз, — сказал я, не оборачиваясь. — Два шага. Руку не протягивать. Не заговаривать первыми. Если она обратится к вам сама — отвечайте. Молчать нельзя, молчание у них считается оскорблением и имеет цену.

— А если я не понял вопроса? — спросил Бор.

— Скажите, что не поняли. Это нормальный ответ.

— А если я понял, но ответ ей не понравится?

— Тоже говорите. Ей не обязано нравиться. — Я посмотрел на индикатор над люком: давление сравнялось. — Врать нельзя. Это не из вежливости. Они помнят всё и сверяют с тем, что помнили шестьсот лет назад. Поймают на мелочи, и вот тогда начнётся настоящий разговор.

Люк пошёл в сторону.

Я думал, что готов. Я видел эссуан девять раз, из них четыре — вблизи, и всё равно первые две секунды у меня ушли на то, чтобы перестать смотреть.

Она была мне по грудь. Серо-фиолетовая, сухая, в простой серой накидке без застёжек. Головы в человеческом смысле у неё не было: от плеч поднимался короткий столбик, а на нём стоял сложенный веер — тонкий, в палец толщиной, высотой с ладонь. Глаз не было вовсе. Эссуан видят поверхностью веера, и видят лучше нас.

Руки — четыре, по две с каждой стороны, и верхняя пара тоньше нижней. Двигалась она медленно, но не как старая: как человек, который точно знает, сколько у него осталось движений, и не тратит лишних.

За ней стояли двое своих — ниже, крупнее, в накидках потемнее. Они внесли за ней три короба и вышли обратно в катер, не поклонившись.

Я отступил на два шага и начал приветствие.

Приветствие эссуан — это не слова, а перечисление. Их нельзя пропускать, и нельзя менять порядок, потому что порядок и есть смысл. Сначала называешь то, что перед тобой, потом то, чем оно является, и только потом то, чего ты от него хочешь.

Я говорил на их языке, и говорил долго — минуты две.

Я назвал её: линия Сат-Онэ, шестьсот двенадцатый год непрерывной памяти, третья длина. Я назвал её тело: сорок первый год, звено текущее. Я назвал, кто принимает: судно «Вторник», капитан Нев Асколи, экипаж шесть человек, флаг Протектората. Я назвал основание: договор, статья об инспекции. И в конце назвал себя: толмач, грань толмача, снято — вкус к человеческому обществу и стыд.

Последнее не обязательно. Но эссуан это ценят: у них принято называть, чего в тебе нет.

Она выслушала всё. Потом развернула верхнюю пару рук и сложила обратно.

— Принято к учёту, — сказала она.

И на русском, без всякого перехода:

— Благодарю, господин толмач. Это было полное приветствие. Я ожидала сокращённое.

Голос у неё шёл не изо рта — рта тоже не было, — а откуда-то из основания столбика, и звучал ровно, без выделений, как читают по бумаге.

— Вы говорите по-русски, — сказал я.

— Говорю. Плохо. Я выучила его по уставам, поэтому го-

ворю как устав. — Веер качнулся. — Это неудобно людям. Я знаю. Я не могу иначе.

Вот тут, в первые двадцать секунд, я и понял, что рейс будет не такой, как я рассчитывал.

Эссуан, которая извиняется за свой русский, — это эссуан, которая изучала, как её русский звучит для нас. А такое изучают не ради инспекции отвода.

— Экипаж за моей спиной, — сказал я. — Шесть человек. Представить?

— Представьте.

Я представил всех по очереди, как положено: имя, должность, грань, снятое. На Нев Асколи я сказал «капитан, не огранена», и веер у Сат-Онэ остановился на середине движения.

— Не огранена, — повторила она.

— По нашему закону командовать может только неогранённый. Командир выбирает цель, а огранке цель не поддаётся.

— Я поняла это иначе. — Она чуть повернулась к Нев. — Капитан Асколи. Вы единственная на борту, кого не переделывали?

Нев шагнула вперёд. Я напрягся: сейчас она могла испортить всё.

— Единственная, — сказала Нев. — И самая бестолковая из семерых. Это не скромность, это по приборам.

Сат-Онэ помолчала свои полсекунды.

— Благодарю за прямой ответ, — сказала она. — Я учла.

И пошла по коридору — медленно, мимо выстроенного экипажа, не глядя ни на кого. Я шёл в двух шагах позади, как положено.

У трапа в трюм она остановилась.

— Господин толмач. Мне показать судно?

— Капитан распорядилась показать трюм, лазарет, реакторный отсек и рубку. В любом порядке.

— Трюм меня не касается.

Я это знал. Я не знал, что она скажет это в первые пять минут, стоя у открытого трапа, в двадцати шагах от двадцати восьми тысяч кассет.

— Трюм — основной груз судна, — сказал я осторожно.

— Трюм — ваше внутреннее дело. — Веер она держала ровно. — Что вы снимаете со своих детей, не предмет договора. Паритет в это не входит, я не имею мнения, и моё мнение никого не касается.

— Тогда что вы хотите осмотреть?

— Лазарет.

Позади меня, в коридоре, кто-то очень тихо выдохнул. Я не обернулся и до сих пор не знаю кто.

— Лазарет сейчас занят, — сказал я. — Врач заканчивает медосмотр.

Это была правда. Это была чистая правда, и мне не пришлось ничего придумывать, и впервые за девять лет работы я поймал себя на том, что обрадовался возможности сказать

правду вовремя.

— Тогда я подожду, — сказала Сат-Онэ. — Сколько осталось?

— Один человек.

— Кто?

Вот это был первый вопрос за рейс, на который я не знал, что отвечать.

Потому что оставался капитан. Единственная на борту, кто через медосмотр не прошёл, — и единственная, кого инспектор уже выделила из семи.

— Капитан Асколи, — сказал я.

— Я подожду, — повторила эссуанка. — У меня есть время. Не очень много, но на это есть.

Она отошла к переборке, встала, сложила все четыре руки и перестала двигаться совсем. Эссуан умеют ждать так, что через минуту начинаешь сомневаться, живая ли она.

Я вернулся в коридор. Экипаж уже разошёлся, остались Нев и Фесс.

— Она хочет в лазарет, — сказал я. — И будет ждать, пока вы пройдёте осмотр.

Нев посмотрела на Фесса. Фесс посмотрел в пол и ничего не сказал — приветливо, как он умел.

— Пишите, что я прошла, — сказала Нев.

— Это подлог, — сказал Фесс.

— Это подпись. Вы их полторы тысячи поставили, поставите тысяча пятьсот первую.

Я стоял и слушал, и мне ничего не мешало вмешаться — ни стыд, которого у меня нет, ни такт, которого мне тоже не положили.

— Не советую, — сказал я.

— Вас не спрашивали, — ответила Нев.

— Знаю. Я всё равно скажу. Она прочитает подлог в первые две минуты, потому что у неё спросит шестьсот лет опыта, а у вас за спиной четырнадцать. И тогда вопрос из «почему капитан не прошла осмотр» превратится в «почему капитан его скрыла», а это другая статья и другая цена.

Нев Асколи долго смотрела на меня. Потом сделала то, чего я не ожидал: засмеялась — коротко, без веселья.

— Знаете, Керн, в чём ваша беда? Вы правы.

— Это обычно не беда.

— Это беда, когда правы вслух. — Она застегнула куртку до горла. — Ладно. Фесс, пишите как есть. Я не прошла осмотр и не пройду.

— Основание? — спросил Фесс.

— «По личным обстоятельствам».

— Она спросит, какие, — сказал я.

— Пусть спросит. — Нев пошла по коридору к лазарету, и уже оттуда, не оборачиваясь, добавила: — А вот это, толмач, уже не ваше дело. Переводить будете вопрос. Отвечать буду я.

Глава 5

Из судового распорядка «Вторника», лист первый, от руки:

Вода — четыре минуты на человека. Кто больше, тот моет посуду.

В реакторный отсек не входить. Никому. Даже если позвал Бор.

Если что-то гудит по-новому — сообщить лоцману, а не капитану.

Переход до Сутыри занимал восемнадцать часов, и первые четыре я проспал.

Переход — это когда судно идёт по готовой трассе. Трассы прокладывали не мы: они были здесь до людей, и кто их проложил, никому не известно. Мы платим за право прохода, идём по чужой дороге и в дороге ничего не видим. Снаружи корпуса в это время нет ничего, на что стоит смотреть, а внутри корпуса все восемнадцать часов происходит одно и то же: теснота.

«Вторник» был рассчитан на экипаж в четыре человека, а нас было восемь, считая инспектора. Каюты по два метра, койка откидная, под койкой ящик. Коридор такой, что двоим не разойтись, не прижавшись.

Для человека с моей гранью это ад, устроенный с инже-

нерной точностью.

Я вышел в кают-компанию во втором часу судового времени, рассчитывая, что там никого. Там был Юн Сабаль. Он сидел с кружкой и смотрел в переборку.

— Не спится? — спросил я.

— Я не сплю в переходе.

— Почему?

— Потому что в переходе нечего запоминать. — Он повернул кружку в руках. — Восемнадцать часов, в которых ничего не происходит. Я их всё равно запомню целиком, секунда за секундой. Так лучше хотя бы сидеть и смотреть на что-нибудь, чем лежать и смотреть на подволок.

Я сел напротив, хотя собирался у выхода.

— Сколько у вас в голове таких часов?

— Два года и четыре месяца. — Он ответил сразу, без счёта. — Шестнадцать тысяч восемьсот сорок часов вахты. Из них переходов — тысяча девятьсот.

— И вы помните тысячу девятьсот часов, в которые ничего не происходило.

— Да.

— Это очень много ничего.

— Это и есть моя работа, — сказал Юн. — Только я раньше думал, что память — это когда помнишь нужное. А это когда не можешь выбрать.

Он допил и поставил кружку очень аккуратно, в центр стола.

— Господин Керн. Про одиннадцать минут.

— Слушаю.

— Я сказал об этом за столом, потому что вы спросили прямо, а я на прямые вопросы отвечаю. — Он помолчал. — Но я не сказал одного. Я не только их не помню. Я помню, что помнил.

Я ждал.

— Это трудно объяснить человеку, который умеет забывать, — сказал Юн. — Когда вы забываете, у вас не остаётся места. Просто нет, и всё. А у меня есть место. Пустое, с краями. Я могу подойти к нему и потрогать. Там что-то было, и теперь там ровная стенка.

— Сколько раз вы к нему подходили?

— Сорок одну тысячу двести восемь раз, — сказал он и улыбнулся краем рта. — Шутка. Я не считал. Много.

Я посмотрел на него. Девятнадцать лет, тонкая шея, пустое место с краями в голове.

— Юн. Если инспектор спросит вас про эти минуты, что вы ответите?

— Правду. Вы же сами сказали.

— Я сказал. Теперь говорю другое: ответите правду и ни слова сверх. Она спросит, помните ли вы. Ответ — «нет». Она спросит, знаете ли вы причину. Ответ — «нет». Она не спросит, подходили ли вы к пустому месту сорок тысяч раз, и вы про это не говорите.

— Почему?

— Потому что первое — это факт, а второе — это ваша боль, и у них она тоже имеет цену. — Я встал. — Не раздавайте бесплатно то, за что вам могут выставить счёт.

Юн кивнул. Потом сказал в спину:

— Вы ведь понимаете, что это был отвод.

— Я понимаю, что это могло быть что угодно.

— Нет, — сказал Юн Сабаль спокойно. — Способность забывать мне сняли при раскрытии, в четырнадцать лет. Больше её снять нельзя: её уже нет. А вот отдельное воспоминание вынуть можно только одной машиной, и она у нас в лазарете.

Я постоял у выхода секунды три.

— Идите спать, — сказал я.

— Я не сплю в переходе.

Нев Асколи я нашёл в рубке, на восьмом часу перехода. Хадиджа сидела в правом кресле со счётом трасс и на меня даже не повернулась. Нев стояла у заднего пульта с кружкой.

— Вы не спите, капитан.

— Я сплю в порту. — Она не обернулась. — Чего вам?

— Хочу спросить про медосмотр.

Хадиджа в своём кресле не шевельнулась, но перестала перебирать клавиши.

— Я уже сказала: не ваше дело.

— Сказали. — Я прислонился к переборке. — А я уже говорил, что мне не положили стыда, поэтому я спрошу ещё раз и буду спрашивать, пока не получу ответ, годный для пе-

ревода.

Нев наконец повернулась.

— Вы хоть понимаете, какой вы невыносимый человек?

— Понимаю. Это не ругательство, это описание. Невыносимость — моя часть работы, за неё и платят.

— Кому платят-то?

— Паритету. Они держат при себе человека, которому ничего не стыдно, потому что иначе на переговорах кто-нибудь однажды что-нибудь смягчит.

Она отпила из кружки. В рубке пахло не чаем.

— Керн. Вы поймёте, если я скажу, что мне проще соврать эссуанке, чем вам?

— Пойму. Ей вы врёте один раз, а мне придётся каждый день.

Хадиджа Рэм очень тихо засмеялась в своём кресле. Нев посмотрела ей в затылок.

— Рэм, займись трассой.

— Трасса занята, капитан. Трасса сама себя ведёт восемнадцать часов, вы это знаете не хуже меня.

— Тогда займись чем-нибудь и перестань слушать.

— Не перестану.

Вот в эту минуту я и начал понимать, как устроен этот корабль. Не по судовой роли, а по-настоящему. Капитан, которой никто не боится, лоцман, которая не притворяется, и семеро людей, которые за год не сменили ни одного человека, хотя работа у них хуже не придумаешь.

Текучесть ноль. Я читал это в судовой роли и решил, что опечатка.

— Хорошо, — сказала Нев. — Слушайте оба, потому что всё равно узнаете, а вы, Керн, узнаете первым и в самый неудобный момент.

Она поставила кружку.

— Я вторичная.

Хадиджа повернулась в кресле.

Я знал, что это значит, но мне понадобилось несколько секунд, чтобы соединить это слово с женщиной, которая стояла передо мной и четырнадцать лет командовала судном.

Вторичный — это тот, кого уже восстанавливали. По нашему закону восстановление даётся один раз. Копию с тебя снимают раз в год; если ты умер, тебя разворачивают из последней копии, и дальше ты наследуешь всё, что должен был умерший: долги, приговоры, обязательства перед семьёй. Не наследуешь только права. Имущество, гражданство, брак — не твои. По закону ты другой человек, и этому другому человеку оставили ровно одно: отрабатывать.

— Когда? — спросил я.

— Девять лет назад. — Нев сказала это ровно. — Разгерметизация, не моя вина, но подписывала я. Умерла сорокаминутной смертью, вернулась из копии, снятой за семь месяцев до того. Семи месяцев своей жизни не знаю до сих пор.

— А патент?

— А патент мне оставили, потому что патент капитана —

это обязательство, а не право. — Она усмехнулась. — Права у меня отобрали все. Эта каюта не моя. Эта кружка не моя. Я юридически не владею даже собственным телом, Керн, оно в залоге у страховой компании, и у меня есть бумага, где это написано именно такими словами.

В рубке стало слышно вентиляцию.

— Вот почему я не пойду на медосмотр, — сказала Нев Асколи. — Потому что в карте будет стоять «вторичная», а дальше эссуанка спросит, что это такое, а дальше мне придётся объяснить шестисотлетней женщине, у которой память не рвётся никогда, что мы тут делаем копии людей и отбираем у копий права.

Я молчал.

— И не вздумайте сказать, что она всё равно узнает.

— Она всё равно узнает, — сказал я.

— Я же просила.

— Вы просили не вздумать. Я и не вздумал, я просто сказал.

Хадиджа в кресле снова засмеялась — и я вдруг заметил, что смеётся она всякий раз, когда капитану тяжело. Не над ней. Для неё.

Лоцману снимают привязанность к людям. Снимают до раскрытия, в четырнадцать лет, и обратно не возвращают.

Я отметил это и в третий раз ничего не сказал.

Глава 6

Объявление в вестибюле Палаты Огранки, мир Сутырь:

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Заказ оформляется на одиннадцатые сутки после зачатия и позже не изменяется.

Стоимость указана за каждую грань отдельно. Рассрочка на двенадцать лет — выплачивает сам ребёнок с первого года работы.

Перечень снимаемого выдаётся на руки по требованию. Ознакомление не обязательно.

Сутырь оказалась рудным миром с одним городом и небом цвета мокрого картона.

Палата Огранки стояла на площади, и это было самое чистое здание из всех, что я там видел: белое, в три этажа, с широкой лестницей. Рядом с ним прочие дома выглядели как времянки, которые кто-то забыл снести.

Грузовую погрузку вели со двора, и нам на неё отвели сорок минут. Варга с Бором остались у контейнеров. Фесс пошёл подписывать акты. Я пошёл с ним, потому что по договору инспекция имеет право присутствовать при приёмке, а Сат-Онэ изъявила желание, и значит, нужен был толмач.

Мы прошли через вестибюль.

Там была очередь.

Человек сорок, в основном парами, с номерками. Сидели

на скамьях вдоль стен, стояли у окон. Молодые, лет по двадцать пять. Одна женщина была беременна — на вид месяца три, хотя заказ оформляют на одиннадцатые сутки, так что она пришла не оформлять, а переспрашивать.

Над окошками висели таблички с ценами. Я прочитал их все, потому что мне было интересно, а стыда мне не положили.

Лоцман стоил дороже всего. Боец — вдвое дешевле. Учётчик шёл по средней цене и был помечен звёздочкой; сноска внизу таблички сообщала, что срок службы учётчика ограничен и что Палата не несёт ответственности за состояние после сорока лет.

Реакторный стоил меньше всех.

— Дешёвый, — сказал я Фессу.

— Дешёвый, — согласился он. — И самый спрашиваемый на рудных мирах. Тут шахты, тут реакторы, тут работа. Ребёнка огранят под реактор, и он тридцать лет будет кормить родителей, которых вы сейчас видите на скамейках.

— Тридцать?

— Тридцать. Потом доза.

Мы стояли у стены, и в этот момент к третьему окошку подошла женщина с мужчиной — оба в рабочем, оба лет по двадцать семь, у мужчины под ногтями то, что не отмывается.

Я слышал весь разговор. У меня слух не огранён, у меня огранён язык, но в вестибюле Палаты Огранки акустика та-

кая, что всё слышно и от стены.

— Мы по третьему разряду, — сказала женщина. — Реакторный.

— Девочка? — спросила служащая за окошком.

— Девочка.

— Тогда с обонянием решайте сейчас. По третьему разряду снимается стандартно, но по заявлению можно оставить.

— А разница в чём?

— Разница в допуске. С обонянием в горячий контур не пустят, потому что там химия, и она будет её чувствовать. Поставят на холодный, а холодный — это на четверть меньше ставка.

Женщина посмотрела на мужчину. Мужчина смотрел в пол.

— А страх? — спросила она.

— Страх высоты и замкнутого снимается всегда, по нормативу. Без этого в контур вообще нельзя.

— Я не про высоту. Я про… — женщина замялась. — Ну, вообще страх. Чтобы она не боялась.

— «Вообще страх» не снимается, — сказала служащая, и впервые за разговор в её голосе появилось что-то человеческое. — Снимается частично инстинкт самосохранения. Это не одно и то же, и я вам, честно говоря, не советую: с полным снятием они до тридцати не доживают.

— А с частичным доживают?

— Чаще.

Женщина молчала долго. Потом сказала:

— Снимайте как положено. И обоняние тоже снимайте. Нам ставка нужна.

Служащая подвинула бланк. Женщина взяла ручку и стала заполнять, и я видел, как она пишет: медленно, крупно, высунув кончик языка, как пишут люди, которые пишут редко.

Мужчина так и не сказал ни слова.

Я стоял у стены и смотрел на это сорок минут назад, а теперь смотрю на это уже восемь лет, потому что помню до сих пор, и мне для этого не нужна грань учётчика.

— Фесс.

— Да.

— Эта девочка через тринадцать лет пройдёт раскрытие. Из неё выведут страх высоты, страх замкнутого, часть инстинкта самосохранения и обоняние. Всё это ляжет в кассету. Кассета пойдёт к нам в трюм.

— Верно.

— И вы подпишете акт об её утилизации.

— Подпишу.

— Вы читаете бирки, вы сами сказали.

— Читаю, — сказал Иллари Фесс. — И знаете, что я вам отвечу? Что вы сейчас стоите рядом со мной и смотрите точно так же, как я, и у вас ровно столько же возможностей вмешаться, сколько у меня. Ноль.

— У вас есть подпись.

— У меня есть подпись, — согласился он. — Если я её не поставлю, поставит сменщик. Если сменщика не найдут, партии будут лежать сверх срока, а сверх срока они портятся, и тогда вместо утилизации будет списание по порче, и никто даже не прочитает, что в них было. Я не защищаюсь, Керн. Я объясняю устройство.

Приветливость — это не свойство характера. Это способ не возвращаться к вопросу. Я это понял ещё за ужином, а здесь, в вестибюле, увидел, как оно работает на полном ходу.

Сат-Онэ стояла в десяти шагах от нас, у колонны, и не двигалась.

Я подошёл.

— Вы это слышали.

— Я слышала.

— Понимаете?

— Я не понимаю половину слов. — Веер у неё стоял ровно. — Я понимаю действие. Два существа решили, чего не будет у третьего, и третьего не спросили, потому что третьего ещё нет.

— Так и есть.

— По нашему праву это невозможно, — сказала она. — Не запрещено. Невозможно. У нас решение за звено принимает линия, а линия — это и есть то звено, только раньше. Решает всегда тот же, кого решение касается. Другого способа у нас нет.

— А у нас есть.

— У вас есть. — Она повернула веер к очереди на скамьях. — И вы называете это заказом.

Я не нашёл, что ответить, и не стал искать.

— Сат-Онэ. Вы сказали, что трюм вас не касается, и я вам поверил. Вы ведь не солгали?

— Я не солгала. Трюм меня не касается.

— А это? — Я показал на окошко, где женщина заполняла бланк.

Эссуанка молчала дольше, чем свои полсекунды. Секунд пять.

— Это меня тоже не касается, — сказала она наконец. — И я это учла.

Веер у неё сложился до конца — в первый раз за те сутки, что она была на борту.

Я перевёл это себе так: у существа, которое не умеет забывать и живёт шестьсот лет, только что появилось ещё одно воспоминание, от которого ему некуда деться.

А потом подумал, что перевод, скорее всего, точный, и что это первый раз за девять лет, когда я перевёл чужое чувство, а не чужие слова.

Во дворе Варга и Бор закончили погрузку. Нам привезли четыре контейнера: две тысячи двести кассет, шесть разрядов, одна Палата.

Фесс подписал приёмку, не читая.

— Вы же читаете бирки, — сказал я.

— На приёмке — нет, — ответил он. — На приёмке я под-

писываю количество. Бирки я читаю потом, по ночам, когда их везут жечь. Это, Керн, совершенно бессмысленное занятие, и я занимаюсь им четырнадцать лет.

Глава 7

Из «Инструкции по обращению с кассетами отвода», пункт девятый:

Подключение содержимого кассеты к человеку запрещено и влечёт поражение в грани.

Поражение в грани означает: отзыв допуска, расторжение договора, возврат Палате стоимости огранки в полном объёме.

Срок исполнения приговора — пожизненно.

Я пошёл в трюм в третью смену, потому что не спал, а ходить по «Вторнику» в третью смену можно не встретив никого.

Так я себе это объяснил. На самом деле я пошёл туда потому, что три раза промолчал, и на четвёртый мне стало любопытно. Любопытство у меня не снято. Его, насколько я знаю, вообще никому не снимают: без него не работает ни одна грань.

Свет на третьем ярусе горел рабочий, вполовину.

Хадиджа Рэм сидела на полу в проходе, между рядами, спиной к стеллажу. Рукав куртки был закатан до локтя. В левой руке она держала кассету, а на тыльной стороне правой, у самых костяшек, стоял разъём — короткий серый цилиндрик, прижатый к коже лентой.

От разъёма к кассете шёл провод.

Она посмотрела на меня и не стала ничего прятать. Прятать было поздно, и мы оба это понимали.

— Долго стоите? — спросила она.

— Минуты две.

— И молчите.

— Я вообще много молчу в этом рейсе. Начинаю привыкать, а привычки мне не положены.

Хадиджа отсоединила провод. Движение было отработанное, без спешки: так отвинчивают крышку на бутылке, которую открывали тысячу раз.

— Это прикус, — сказала она. — Называйте как есть, не надо подбирать слова.

— Я и не подбирал. Я названия знаю.

Прикус — это когда чужую осыпь подключают к себе. На час получаешь то, чего у тебя нет и не будет: страх, жалость, веру, привязанность. Потом отключаешься, и всё. Запрещено, карается поражением в грани — то есть отзывом допуска, расторжением договора и возвратом Палате всей стоимости огранки. Пожизненно.

Практикуется повсеместно.

Я сел на пол напротив неё, потому что стоя разговаривать было неудобно, а ещё потому, что сидя я видел бирку на кассете у неё в руке.

ПАРТИЯ 9-77. ВОЗРАСТ НОСИТЕЛЯ: 14 ЛЕТ 1 МЕС.

НАЗНАЧЕНИЕ: лоцман.

СНЯТО: скука; привязанность к людям.

— Вы берёте только лоцманские, — сказал я.

— Только лоцманские.

— Почему?

— Потому что это то, что сняли с меня. — Она положила кассету на колени, экраном вниз. — Вы думаете, я тут развлекаюсь. Беру чужое, пробую, какое оно. Нет. Я беру своё.

— Это не ваше. Это девочки четырнадцати лет и одного месяца.

— Знаю. — Хадиджа подняла на меня глаза. — Я всё про неё знаю. Партия девять-семьдесят семь, Палата на Ветлуге, раскрытие девятнадцатого числа. Мне её привязанность не нужна насовсем, я её возвращаю на полку через час в целости. Это не кража. Это хуже, потому что кражу можно вернуть, а это нет.

Я ждал.

— Вы спросите, зачем, — сказала она. — Все спрашивают. Фесс спросил на второй год.

— Фесс знает?

— Фесс мне ленту для разъёма выдаёт. — Она усмехнулась. — Вы же видели, как он работает. Он не доносит и не помогает. Он выдаёт ленту и не спрашивает, зачем.

— Так зачем?

Хадиджа Рэм посмотрела вдоль прохода — на четыре яруса, на шестнадцать рядов.

— Я лучший лоцман в секторе, — сказала она. — Это не хвастовство. Я веду трассу, которую не ведут на третьем разряде, и веду её одна, без второго пилота, двадцать часов. Я люблю этот корабль. Я чувствую его швы, я знаю, где у него перебой в насосе, я три года зачищала ему заплаты, потому что мне не нравилось, как они лежат.

— Я видел заплаты. Хорошая работа.

— Спасибо. — Она сказала это серьёзно. — А теперь слушайте главное. Я люблю корабль и не умею любить людей. Не «не хочу», не «не сложилось». Не умею. Этого во мне нет, это вынули в четырнадцать лет и положили в такой же цилиндр, как этот.

— Я знаю, как это устроено.

— Вы знаете, как устроено у вас. — Она постучала костяшкой по кассете. — Вам сняли вкус к человеческому обществу. Вам от людей плохо, и вы от них уходите, и вам это даже удобно, вы сами сказали. А мне не плохо. Мне никак. Вот это «никак» — и есть то, с чем я живу.

Я молчал. Было тихо, только насос за переборкой сбивался с такта через каждые четыре удара.

— Нев Асколи девять лет назад умерла на сорок минут, — сказала Хадиджа. — Я была на том судне. Я вытащила её из отсека и держала, пока не пришли. Я помню, как у неё обмякли руки.

— И?

— И я ничего не почувствовала. — Она произнесла это

без выражения. — Совсем ничего, господин толмач. Я сделала всё правильно, быстрее, чем кто угодно, по всем нормативам, и мне было ровно так же, как когда я подтягиваю крепление на стеллаже. А потом она вернулась вторичной, без прав, без каюты, без своего тела, — и мне опять было никак.

Она подняла провод и покрутила его в пальцах.

— Один час в сутки я беру у четырнадцатилетней девочки её привязанность к людям и сижу тут, на полу, в трюме, между стеллажами. И один час в сутки я понимаю, что я тогда вытащила из отсека. Не груз. Нев.

Вот тут мне и стало ясно, почему на «Вторнике» нулевая текучесть.

Не потому, что люди держатся за место. Потому что все семеро, каждый по своей причине, нашли способ что-то себе вернуть — и ни один из этих способов нельзя унести на другое судно.

— Хадиджа.

— Да.

— Через двое суток эссуанка пойдёт в лазарет. Она не будет смотреть кассеты, трюм её не касается, она сама сказала и не солгала. Она будет смотреть отвод.

— Я поняла это ещё за ужином.

— Тогда вы поняли и остальное. На отводе есть счётчик включений.

Хадиджа Рэм очень медленно отвела ленту от руки и сня-

ла разъём.

— Я никогда не включала судовой отвод, — сказала она. — Мне он не нужен. Мне нужен провод и разъём, а отвод — это машина, которая вынимает, а не подключает. Я подключаю.

— Знаю.

— Тогда зачем вы это говорите?

— Потому что счётчик покажет, что отвод включали, — сказал я. — И когда он это покажет, искать начнут того, кто в трюме проводит половину вахты. То есть вас. А вы будете объяснять, что вы всего лишь прикусываете чужих детей.

В трюме стало совсем тихо. Насос выровнялся и пошёл ровно, впервые за весь рейс.

— Сколько раз он включался? — спросила Хадиджа.

— Не знаю. Юн не помнит одиннадцати минут в ночь на прошлый вторник.

Она закрыла глаза. У лоцманов не снимают способность бояться — страх лоцману нужен, без страха не бросают груз.

— Господин Керн, — сказала она. — А вы можете один раз в жизни промолчать не три раза, а четыре?

— Могу, — сказал я. — Но не стану.

Глава 8

Из «Порядка приёма инспекции Паритета на борт судна под флагом Протектората», раздел четвёртый:

Инспектирующему звену предоставляется: отдельное помещение с запирающимся изнутри входом; питание по прилагаемой таблице; толмач на всё время пребывания.

Прикосновение к инспектирующему звену приравнивается к попытке разрыва и влечёт ответственность по статье двенадцатой Реестра крови.

Фотографирование допускается. Запись речи — нет.

Вентиляция в кают-компании гудела так, что говорить приходилось громче, чем хотелось. Её обещали перебрать на последнем ремонте, а перед тем — на предыдущем, но каждый раз находилось что-нибудь поважнее.

Я ужинал здесь четвёртый вечер подряд, в третью смену, когда в кают-компании никого не было. Сат-Онэ приходила в то же время и тоже четвёртый вечер подряд. Мы об этом не договаривались. Просто мы оба предпочитали пустое помещение.

— Господин толмач.

— Да?

— Я спрошу?

— Спрашивайте.

— Почему вы едите здесь, а не с ними?

Я знал, что она об этом спросит. Думал только, что она дотерпит до шестого вечера.

— Потому что от них пахнет.

Она подождала. Эссуан всегда выжидают лишние полсекунды, прежде чем ответить: за свою долгую жизнь они приучились считать, что собеседник, скорее всего, ещё не закончил.

— Это не фигура речи, — добавил я. — Когда меня оранивали, в четырнадцать лет, мне дали язык и умение читать телесную мимику любой расы, а взамен сняли вкус к человеческому обществу. И стыд заодно, он толмачу мешает. Поэтому я сижу здесь один. И поэтому говорю вам про запах прямо, вместо того чтобы соврать про расписание.

— Это неудобно.

— Мне-то удобно. Неудобно другим.

Она качнула веером. Веер у эссуан растёт на голове вместо волос: сложенный, серо-фиолетовый, толщиной в палец. Это движение означало «принято к учёту», и ничего больше. Человек перевёл бы его как «понимаю». Сама Сат-Онэ сочла бы такой перевод оскорблением: «понимаю» подразумевает сочувствие, а никакого сочувствия она не предлагала.

Ростом она была мне по грудь. Со спины её можно было принять за подростка, если забыть про веер и про то, что глаз у эссуан нет вовсе.

В этом теле она жила сорок первый год. Эссуан не говорят

«мне сорок один»: тело для них только звено, одно из многих, а считают они не тело, а линию памяти, которая через эти тела тянется. Линия Сат-Онэ тянулась шестьсот двенадцать лет. Людям я это объяснять перестал ещё на Гретте — обычно после третьей попытки человек говорит «а, то есть она бессмертная», и дальше разговаривать не о чем.

Перед ней стояли три плошки, и очерёдность была важна: сначала бурая, потом прозрачная, потом снова бурая. На сорок первом году тело изношено. Оно ещё держится, но еду приходится принимать строго по порядку, иначе день для неё пропадёт.

— Ваш реакторный предлагал мне ваше питание.

— Помню.

— Это была проверка?

— Да нет же. — Я чуть не поперхнулся. — Бор просто не чует, как наш паёк пахнет. Он костёр, реакторный спец, а костру обоняние снимают сразу, иначе он в реакторном отсеке не выживет: там такая химия, что… неважно. Он вам этот паёк от души протягивал. Я ему потом час объяснял, что он чуть не сделал.

— Он не знал.

— Он до сих пор не уверен, что понял.

Веер качнулся ещё раз, короче и вниз.

— Я учла это как доброту.

И тут я опять потерял регистр, и поделать с этим было нечего. У эссуан «учесть» и «запомнить навсегда» — одно

слово, потому что для них это одно действие. По-русски получается бухгалтерия. А сказала она, если переводить честно, что Стефан Бор останется для неё добрым ещё шестьсот лет — и тогда, когда от него не останется даже записи в списке экипажа.

Вслух я этого не сказал. Не из деликатности, её мне тоже не положили. Просто Бор не понял бы, а она и так знала.

Бурую плошку она доела и взялась за прозрачную.

— Можно второй вопрос?

— Третий, вообще-то.

— Зачем вы делаете копии?

Я положил ложку.

Они всегда про это спрашивают. Эссуанское право начинается с того, что копия — подделка, и каждая линия, познакомившись с человеком, рано или поздно проверяет, знает ли человек, что он подделка.

— Вы сейчас спрашиваете как инспектор или как…

— Я спрашиваю.

— Угу. — Я подумал. — Потому что умирать дорого, а бояться смерти всё равно не перестанешь. Вот тебе и продают одно восстановление: денег берут как за бессмертие, а дают один раз. Торговля, в общем.

— Торговля чем.

— Да собой, чем же.

И пришлось объяснять, потому что отвязаться она не собиралась. Слепок с тебя снимают раз в год. Если ты умер, те-

бя развернут из последнего слепка, и ты теперь вторичный. Долги твои, приговоры твои, жена твоя — всё это переходит к тебе. А права, имущество и гражданство не переходят: по закону ты уже другой человек. Живи и отрабатывай.

Прозрачную плошку она отставила недопитой. За четыре вечера такое было впервые — она нарушила собственный порядок.

— Вы на это согласились.

— Так мы за это и голосовали. Дважды.

— И год.

— Какой год?

— Между последним слепком и смертью. — Веер пошёл в сторону: она подбирала слова. — До года жизни, которого у вторичного не было. Он не знает, что делал в этот год. Он подделка не всего. Он подделка последнего.

Я кивнул.

Она дошла до этого за четыре секунды. Мне понадобилось лет двадцать и один знакомый, у которого жена вернулась вторичной и не помнила, о чём они договорились перед её смертью.

— По нашему праву это уже не торговля. — Веер у неё встал ровно. — Это изготовление.

И тут я понял, что мы больше не ужинаем.

— Сат-Онэ, а что вы на корабле проверяете?

— Вам сказали — кассеты.

— Мне сказали «сохранность партий». Сунули опись на

двадцать восемь тысяч номеров и велели быть полезным.

— Кассеты меня не касаются.

Я поднял голову.

— То есть.

— Что вы снимаете со своих детей — ваше внутреннее дело, Паритет в него не входит. Я не имею мнения о вашей огранке, господин толмач. Я имею доверенность.

— На что?

— На отводы.

Вентиляция всё гудела. Лет ей было столько же, сколько телу напротив, и держалась она примерно так же.

— Отвод — это железка из лазарета, — выговорил я медленно. — Такая в каждой Палате Огранки стоит. Их тысяч сорок, наверное, по всем лазаретам Протектората.

— Сорок одна тысяча двести восемь.

— Ну, тем более.

— Отвод берёт непрерывное сознание и делает из него хранимое. — Она произнесла это ровно, как зачитала. — Больше он не делает ничего. И это единственная машина в галактике, которая умеет это делать.

Я молчал.

— Я умру в этом звене. Через три года, может быть, через пять. Меня это не касается: линия примет следующее звено, и я буду помнить, как сидела здесь с вами. Так же, как помню руки той, что была до меня. У неё были другие руки, господин толмач. Я помню, какие.

— А что вас касается?

— Быть отломанной.

Отломанной. Это их слово, и это единственное слово, которое эссуан произносят с чувством.

— Это не смерть, — сказала она. — После смерти я продолжаюсь. После отвода я… — Она остановилась. Подбирала не слово, а падеж. — Я становлюсь кассетой. С номером партии. Её поставят на полку у вас в трюме, и шестьсот двенадцать лет станут описью.

Я по-прежнему молчал, и молчание было честное: слов я не нашёл, а в моей работе это диагноз.

— Я вас не обвиняю. — Она выждала свои полсекунды. — Ваш народ построил сорок одну тысячу двести восемь машин для разрыва непрерывности и называет их медицинским оборудованием. Я прилетела посмотреть, в каком они состоянии. Это всё. Я считаю, а не обвиняю.

— Лучше бы обвиняли. — Я откашлялся. — Ну и в каком они состоянии?

Веер сложился.

— Ваш — в хорошем. Лучше, чем в бумагах.

— В каких бумагах?

— По судовой ведомости ваш отвод стоит в резерве и не обслуживался одиннадцать месяцев. Я осмотрела его сегодня. Его обслуживают. Кто-то его любит.

— Так мы же мусорщики. — Я пожал плечами. — Заняться тут больше нечем, вот у нас всё и в хорошем состоянии.

— Возможно.

Она встала. Вторая бурая плошка осталась нетронутой — впервые за четыре вечера, и Сат-Онэ на неё даже не посмотрела.

— Я внесу в предварительную записку, что экипаж содержит оборудование добросовестно. Это в вашу пользу.

— Спасибо.

— Это не любезность, это учёт.

Она дошла до двери и остановилась, не оборачиваясь. Эссуан вообще не оборачиваются — они просто перестают идти.

— Господин толмач, когда я буду подавать записку в Паритет, мне понадобится толмач. Любой, кого мне назначат, переведёт правильно. Я прошу вас.

— А разница?

— Правильно переведут все. — Она так и не обернулась. — Вы не умеете стыдиться. Вы не станете смягчать.

И вышла.

Я просидел над остывшей тарелкой ещё минут десять и думал про руки.

И про то, что года через три, может быть, через пять, она будет помнить этот ужин лучше, чем я. Другим телом, другими руками — и всё равно лучше, чем я.

И про то, что мне это будет неприятно.

Неприятно — не то слово. Я перебрал четыре языка; подошло только краумское, но в краумском оно означает «убы-

ток».

Толмач, которому не хватило слова. Это я тоже внёс в учёт.

Конец первой части.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВОЕ СУТОК

Глава 9

Из приложения к договору о Паритете, об эссуан:

Смертью эссуана считается прекращение линии памяти.

Прекращение деятельности тела смертью не считается и регистрации не подлежит.

Фесс разбудил меня в четыре двадцать.

Я запомнил время, хотя памяти у меня обычная: я посмотрел на часы, потому что меня разбудили, а когда меня будят, я первым делом смотрю, сколько у меня отняли сна.

— Керн. Идёмте. С инспектором что-то не так.

— Что именно не так?

— Я не знаю, — сказал Фесс, и вот это было самое страшное за весь рейс. — Я врач двадцать два года. Я не знаю, что с ней.

Сат-Онэ сидела в своей каюте на полу, у переборки, в той же позе, в какой стояла у люка в день прибытия: все четыре руки сложены, веер развёрнут.

Веер был развёрнут полностью.

Я видел это один раз — в кают-компании, на четвёртый вечер, когда она говорила про то, что страшнее смерти. Тогда

она развернула его не до конца и назвала это «шире, чем при посторонних». Теперь он стоял раскрытый во всю ширину, серо-фиолетовый, как ладонь с растопыренными пальцами, и не двигался.

— Она дышит, — сказал Фесс. — Пульс есть. Температура в норме для их вида, я проверил по справочнику. Обмен идёт. Реакция на свет есть, на звук есть, на боль есть. — Он говорил быстро, как человек, который перечисляет, чтобы не думать. — Она жива по всем показаниям, Керн. По всем. Я могу подписать справку, что она здорова.

— Она не здорова.

— Я понимаю, что она не здорова! Я спрашиваю, что с ней.

Я подошёл и сел перед ней на корточки, чтобы веер был на уровне моего лица.

И заговорил по-эссуански.

Я назвал её так, как положено называть при обращении: линия Сат-Онэ, шестьсот двенадцатый год непрерывной памяти, третья длина, звено текущее, сорок первый год. Полное имя. На полное имя эссуан обязан ответить, даже если умирает: ответ на имя у них стоит выше боли и выше смерти, это первое, чему учат звено.

Веер не шевельнулся.

Я подождал положенные полсекунды. Потом ещё. Потом назвал её снова, короче, как называют в разговоре.

Ничего.

Тогда я сделал то, чего делать нельзя и за что по договору отвечают: я протянул руку и коснулся веера.

Он был тёплый. Он чуть подался от прикосновения, как подаётся живая ткань, и тут же вернулся в прежнее положение, потому что мышцы работали.

— Что вы делаете? — сказал Фесс. — Прикосновение запрещено, там статья…

— Статья двенадцатая Реестра крови, — сказал я. — Я знаю статью. По ней прикосновение приравнивается к попытке разрыва.

— И вы…

— И мне нечего нарушать. — Я убрал руку. — Разрыв уже произошёл.

Фесс молчал. Он стоял в проёме, в халате поверх пижамы, с чемоданчиком, который так и не открыл.

— Объясните мне, — попросил он. — Простыми словами.

— Простыми словами её здесь нет.

— Она сидит передо мной.

— Здесь сидит сорок первый год её тела, — сказал я. — Тело в порядке, вы правы, вы можете подписать справку, и справка будет честная. А шестьсот двенадцати лет в нём больше нет. Цепь разорвана. То, что перед вами, — это звено, которое отломали от линии.

— Но оно живое.

— Живое. — Я встал. — Представьте, что у вас вынули всё, чем вы помните себя, а тело оставили работать. Вы ды-

шите, у вас пульс, вы реагируете на свет. Вы при этом никто.

Фесс сел на койку, потому что ноги, судя по лицу, перестали держать.

— Она в коме, — сказал он. — Я напишу «кома неясного происхождения», это по крайней мере…

— Нет.

— Почему нет? Клинически это кома.

— Потому что из комы выходят, — сказал я. — Это не медицинское различие, это юридическое. Напишете «кома» — и вы соврали в документе, который пойдёт в Паритет. Там прочитают «кома», решат, что она жива, и дадут нам срок до её выздоровления, то есть бесконечный. А потом эссуан сверят с тем, что помнят шестьсот лет, и выяснят, что мы написали «кома» про разорванную линию. И тогда к разрыву добавится сокрытие разрыва.

— Так что мне писать?

Я посмотрел на развёрнутый веер.

— Пишите: «Линия Сат-Онэ прекращена. Звено функционирует».

Фесс открыл чемоданчик, достал бланк, положил на колено. Потом поднял голову.

— Керн, я двадцать два года пишу в карты. Я ни разу не писал, что пациент мёртв, пока он дышит.

— Сегодня напишете.

Он написал. Я стоял рядом и следил за каждым словом, потому что переводить это буду я, а переведённое слово сто-

ит дороже написанного.

Потом мы вышли в коридор, и Фесс закрыл каюту, и только тогда я заметил, что у меня трясётся левая рука — та, которой я трогал веер.

Это было любопытно. Мне не сняли страх, страх толмачу нужен: толмач без страха однажды переведёт то, что переводить не надо. Но я девять лет работал с краумами, у которых обида имеет цену, и с тиллу, которые говорят одно слово в минуту, и ни разу у меня не дрожала рука.

Я подумал об этом и решил, что это от недосыпа.

Я тогда часто решал что-нибудь удобное.

— Будить капитана? — спросил Фесс.

— Капитан не спит. Капитан спит в порту.

Нев Асколи была в рубке. Хадиджа тоже — третья смена, её вахта. Когда мы вошли, Нев повернулась с кружкой в руке и сразу поставила кружку на пульт, не отпив.

— По вашим лицам, — сказала она, — я уже всё поняла. Говорите.

— Инспектор мертва, — сказал я.

— Мертва или умерла?

Вот за это я и стал её уважать. Четыре слова, и она попала ровно в то место, где всё решается.

— Убита, — сказал я. — Часа три назад, может, четыре, точнее скажет тот, кто умеет считать такие вещи. Тело живёт. Линия прекращена.

Хадиджа Рэм очень медленно отвернулась от пульта.

— Это сделали отводом, — сказала она.

— Да.

— Только отводом и можно.

— Да.

— У нас на борту один отвод, — сказала Хадиджа. — В лазарете. И он по бумагам одиннадцать месяцев в резерве.

В рубке стало слышно вентиляцию, и я в который раз подумал, что на этом корабле вентиляция всегда слышна в самый неподходящий момент, потому что на этом корабле тихо бывает только тогда, когда всем страшно.

— Фесс, — сказала Нев. — Лазарет заперт?

— Заперт.

— Кто имеет доступ?

— Я. — Фесс помолчал. — И вы. По судовому уставу у капитана есть доступ во все помещения.

— Прекрасно, — сказала Нев Асколи. — То есть подозреваемых на борту ровно семеро, из них двое с ключом, и один из этих двоих — я.

Она взяла кружку, посмотрела в неё и выплеснула содержимое в утилизатор под пультом.

— Хадиджа. Стоп машина, выход из трассы, карантин по полной форме. Фесс, лазарет запечатать и не входить даже вам. Керн.

— Слушаю.

— Сколько у нас времени?

— Сутки или двое. Зависит от того, как быстро эссуан

узнают.

— А как они узнают? Связь у меня.

— Они уже знают, — сказал я. — Линия — это не одна особь, капитан. Шестьсот двенадцать лет — это дюжина звеньев, и часть их жива. Когда линия прекращается, это замечают все, кто в ней был.

Нев закрыла глаза.

— Значит, нам никто ничего не сообщит, — сказала она. — Нам просто придут.

Глава 10

Из «Реестра крови», раздел о сроках:

Взыскание отлагается на время, потребное для установления виновного, если установление ведётся.

Если установление не ведётся или ведётся без следствия, взыскание обращается на то целое, которому принадлежал виновный.

Целым считается: судно, род, поселение, раса.

Эссуан пришли через три с половиной часа.

Не прислали запрос, не вышли на связь, не потребовали объяснений. Просто в восемь по судовому времени Хадиджа сказала из рубки:

— Капитан. На трассе кто-то стоит.

Их было два корабля. Небольшие, вытянутые, без опознавательных знаков, потому что эссуан не ставят знаков: у них считается, что тот, кто пришёл, и так известен. Они встали в четырёх километрах, по бокам, и выключили ход.

И больше ничего не делали.

— Они нас не вызывают, — сказала Нев через полчаса.

— И не будут.

— Почему?

— Потому что вызов — это начало разговора, а разговора ещё не заслужили. — Я смотрел на экран. — Они пришли за-

свидетельствовать. Линия прекращена, место известно, судно известно. Теперь они стоят и ждут, кто начнёт первым.

— И если никто не начнёт?

— Тогда через сутки придут краумы.

Нев повернулась ко мне всем телом.

— При чём тут краумы?

— При том, что эссуан не взыскивают сами. — Я сел в свободное кресло, потому что стоять надоело. — У них нет для этого ни органа, ни обычая. Эссуан предъявляет, а взыскивает краум. Так устроен весь Паритет, и устроен так давно, что никто уже не помнит, кто это придумал.

— Объясните нормально.

— Нормально так. Эссуан внесут разрыв линии в Реестр крови — это краумский свод, по нему в Паритете считают за кровь. Внесут и назовут цену. Цена разрыва линии длиной шестьсот двенадцать лет мне неизвестна, потому что таких записей за двести лет было три.

— И сколько платили в тех трёх?

— В двух случаях взыскали с виновного. В третьем виновного не нашли.

— А в третьем что?

— А в третьем, капитан, — сказал я, — взыскали с того целого, которому виновный принадлежал. По Реестру целым считается судно, род, поселение или раса.

Нев помолчала.

— Судно, — сказала она. — Это нас.

— Это «Вторник». Семь человек, корпус, груз. Это если нам повезёт и целым признают судно.

— А если не повезёт?

— Тогда целым признают расу.

Вот здесь, в рубке, в половине девятого утра, я впервые произнёс вслух то, что потом говорил ещё много раз, в кабинетах и залах, и каждый раз мне не верили ровно до того момента, когда становилось поздно.

— Капитан. Если мы не найдём убийцу и не предъявим доказательство, которое эссуан признают, — это не наше дело и не дело Протектората. Это дело человечества. По Реестру долг наследуется, и наследуют его все, кто принадлежит к тому же целому.

— Сорок миллиардов человек.

— Сорок миллиардов человек, триста двенадцать миров и сто девяносто лет в Паритете, которые мы потеряем в один день. — Я пожал плечами. — Нас при этом тоже убьют, но это уже мелочь.

Нев Асколи села в капитанское кресло. Первый раз за рейс я видел, чтобы она села в него, а не стояла рядом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.